



Я. УДИН

ЗЛОВЕЩИЙ БУКЕТ

БЕСЦЕЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

Шёл по улице. Моя тень шла рядом со мною. Я был недоволен собою. Был недоволен окружающей жизнью. Как мне избавиться от себя жену и дочь, думал я, как избавиться ни в чём не повинных людей от моей беспросветной многолетней хандры — и всего вытекающего отсюда. Я не умею устраиваться в этой жизни, не умею зарабатывать деньги и самое жуткое для меня, думать о завтрашнем дне. Уже много лет так — боюсь задумываться о грядущих бесконечных житейских проблемах. И мне всё время жалко жену и ребёнка. Я прямо снедаем жалостью к ним, и жалость эта от неумения обеспечить им нормальную жизнь. Я шёл по улице, и мне жить не хотелось — так всё осточертело. А тень моя бесшумно плыла подле, и была безмятежна и легка. Ничем не обременена. Краешком сознания я уловил, что завидую своей тени. Хорошо бы, чтобы меня не стало, а тень моя осталась. Моя тень без меня. О-о, нет, нельзя эдак долго рассуждать, нельзя! Хватит! — возмутился я и зашёл в ближайшую рюмочную, заказал 150 граммов водки и стакан томатного сока. Сосед по стойке, солидный на вид человек в тёмных очках, протянул руку со стаканом в мою сторону, и мы чокнулись.

— Тсс, — поднеся палец свободной руки к губам, сказал он с таинственным видом. — Тсс, ничего не говорите, нас могут услышать. Нужно быть осторожным — за мной всюду следят.

— Кто?..

— Мои же, мои. Так и ходят по пятам. Хотя и не знаю их в лицо, но они и здесь, и здесь следят за мной.

— Да кто же вы-то? Откуда?..

— Тсс, тсс. Этого нельзя говорить. Подписку давал. За это меня — раз! — и нет башки.

Я усмехнулся — и выпил: водка была тёплая и противная. Сок прохладен и приятен. Чуть поодаль два вполне приличных на вид молодых человека вели задумчивый разговор:

— Не-ет, тут уж, браток, я не вру, тут мне врать нельзя, нет, хоть убей, а не смогу соврать...

— Отчего эт?..

— Да как можно! Я ж с ним того, я ж с ним раков ловил, целый мешок наловили, как же я могу соврать, если раков вместе ловили?..

Выйдя наружу, я встретил давнюю мою знакомую и, узнав, где и кем она служит, спрашиваю, нельзя ли мне устроиться к ним на работу. Она отвечает, что, в принципе, можно и записывает мой телефон, мою фамилию, имя и отчество. После говорит с лёгким смущением и досадою в голосе:

— Что это за фамилия у тебя — с такой фамилией разве тебя куда устроишь?..

Я чуток растерялся и ничего ей не ответил. Да и отвечать особо было нечего. Всё это давно мне знакомо. Я был ещё невинным юношей, влюблённым в невинную девушку. Целыми вечерами, взявшись за руки, мы гуляли по тихим улицам города и всё о чём-то говорили, впрочем, говорил преимущественно я, она же всё больше молчала, изредка восхищённо заглядывая мне в лицо. Потом я провожал её домой, провожал до самых дверей квартиры. Она жила с одной лишь матерью, без отца. Было похоже, мать очень любила свою дочь и часами ждала её в прихожей, ибо, как бы поздно и как бы неслышно мы ни подступали к двери, моя подружка не успевала всунуть ключ в замочную скважину, как мать отворяла дверь и говорила спокойно:

— Пришла, моя полуночица? Ну, быстрее проходи, а то сейчас продует меня.

Матери было лет тридцать пять, наверно, а может, и того меньше. Моложавая, малого росточка, смуглая женщина с блестящими тёмными глазами на широком брыластом лице, она мне нравилась, но, скорее, не сама по себе, а как мать моей подружки. А я ей, казалось, не нравился, она никогда не заговаривала со мной. Так, глянет мельком и без интереса и отвернётся. Но однажды, когда я зашёл за своей подружкой и не застал её, мать пригласила меня в дом. Усадила на кухне за стол и стала поить чаем. Почти ни о чём не спрашивала, всё как-то странно и пристально, не отводя взгляда, смотрела мне в лицо своими блестящими тёмными глазами.

— Конкретно против тебя я ничего не имею, — сказала наконец. — Но ты должен знать: моя единственная дочь никогда не выйдет за нерусского.

Я был поражён. Потому что, помимо всего, сама она тоже мало походила на русскую. Как бы там ни было, фраза была произнесена, и я сидел, сгорая от неловкости и пряча глаза, точно не она, а я совершил какую-то несусветную подлость. Вдруг она как-то нервно хохотнула, порывисто встала и, неожиданно сев ко мне на колени, начала целовать меня. Что со мной было, что я тогда испытывал, честно говоря, не помню, или, точнее, вряд ли смогу передать словами, но знаю, что она затащила меня в постель и деловито, старательно, с жадной нежностью лишила невинности. Потом поспешно, едва накинув на голое крепкое тело халатик, почти силком вытолкала меня, ошеломлённого, из квартиры — и я ушёл, чувствуя себя как в смутном и горячем, жутком своей стыдливостью, сне, ушёл навсегда — не видел больше ни своей подружки, ни её матери. Кстати, и сама подружка почему-то не искала меня, не пришла ко мне, хотя и знала, где я живу...

Помню ещё более странное, совсем уж дикое подобное же недоразумение. Лет двадцать пять назад в нашем городе учился один мой земляк. Отец его по национальности — удин, мать — русская. На третьем курсе парень решил жениться — и тут такой скандал разразился: мигом приехали мать с отцом и стали решительно отговаривать сына от опрометчивого поступка. Особо старалась мать — она и слышать ни о какой женитьбе не хотела. Но сын упрямылся, женюсь, мол, и всё, никто мне не указ. Так они бились долго, изо дня в день всё более ожесточаясь, к тому же и меня пытались вовлечь в свои семейные распри, но я всё отмалчивался, не желая встречать в чужую интимную жизнь. Но всё же однажды я не выдержал и сказал матери моего земляка:

— Татьяна Ивановна, что вы так убиваетесь, пусть закроет третий курс и женится себе. Что в этом такого?..

— Да я разве против? — возразила она. — Пускай хоть завтра женится, но только на своей — на удинке. А то, вишь ли, на русской вздумал жениться.

— Помилуйте, вы же сама русская, — удивился я.

— Какая я тебе русская! — вспыхнула она. — Какая ещё русская, когда более тридцати лет замужем в вашем селе? Нет и нет, на русской он женится только через мой труп...

Но сын всё же тайно сходил в загс и зарегистрировал свои отношения с любимой девушкой. А спустя полгода у молодых родился ребёнок. Однако жить им совместно всё равно не дали и к концу учёбы вовсе разлучили — увезли сына в родное село и там женили на местной девушке. Правда, от ребёнка, от внука, не отказались, к внуку приезжали каждый год и всячески ублажали.

Бесцельно прогуливаясь, я добрёл до рыночной площади и остановился, чтобы купить пачку сигарет. Кругом роилась людская толчея, шумная и бестолковая, как и пред всяким рынком. Тут моё внимание привлекла картина: за маленьким столиком сидела старуха и торговала семечками, орешками из стаканов. И среди этого шума-гама к столику старухи подлетали воробьи и воровали орешки. Как скоро я заметил, воровали не семечки, тыквенные или подсолнечные, а исключительно одни орешки — фисташки, фундук, арахис. Старуха держала в руке палочку и часто стучала ею по столешнице, отгоняя наглых воробьев, но они всё подлетали и отлетали, подхватив клювиком очередной орешек и не обращая на старания старухи никакого внимания.

— Пирожки! — с едва заметным акцентом кричала опрятно одетая женщина-армянка с тяжёлой сумкой в руках. — Кому горячие пирожки!..

И то и дело прибавляла-твердила, как бы оправдываясь перед кем-то:

— Это после обеда я пирожками торгую. А с утра я целительницей работаю. Народной целительницей!..

Не знаю почему, наблюдая за всем этим, я стал чувствовать себя гораздо лучше. Тут меня хлопнули по плечу. Я повернулся и вижу: стоит мой приятель и улыбается, разведя руки для объятий. Мы горячо и шумно здороваемся и какое-то время беседуем о том о сём. Его я, однако, не спрашиваю о работе, с ним я уже работал, и мы не сработались. Он довольно успешно занят бизнесом и хорошо живёт. Так считается. Всем необходимым обеспечен. Даже с излишком обеспечен. Кажется, блага так и текут к нему в руки. Так и текут. Все даётся легко и непринуждённо. У него одна черта в характере — что бы он ни делал, о чём бы ни говорил, ни договаривался, неизменно произносит привычное:

— А что я буду с этого иметь?

Совершенно ничего — ни одного шага, ни единого жеста не свершает без этой фразы. Подчас доходит до нелепости, до маразма: тот же вопрос задаёт и жене, и дочери. Самое, пожалуй, дикое, я заметил: он не одинок — таких типов нынче много среди предпринимателей средней руки. Очень много. Я же при всём моём желании не могу быть таким. Я даже пробовал — года три крутился в коммерческой фирме этого приятеля, но сломя голову бежал, едва не спившись от тоски и убогости той жизни.

— Так ты чего здесь делаешь-то? — любопытствует приятель.

— Да вот курево купил, — отвечаю, и он брезгливо морщится.

Я курю дешёвые сигареты, и он всегда этим недоволен.

— Да брось ты их! — предлагает и теперь. — Кури вот мои.

Я молча отказываюсь. Чего ради, думаю, закурю такие шикарные, когда назавтра придётся возвращаться к привычным.

Это давний спор между нами. Помнится, как-то едем в его роскошном автомобиле. Я дымлю, как всегда, своим дешёвым табачком. Он не выдерживает, резко осаживает машину, выскакивает из салона и скоро приносит два блока американских сигарет. Блок «Парламента» — себе, блок «ЛМ» — мне, протягивает со словами:

— Подарок тебе. От меня.

— Извини, но я не возьму.

— Ну, чего, чего ты куришь эти вонючие? — возмущается он. — Вот я принёс тебе хороших и тоже крепких сигарет.

— Спасибо тебе, конечно, — отвечаю. — Не обижайся, но я не буду.

— Ну, почему, почему — не пойму? Почему — можешь объяснить?..

— Могу. Ты вот выскочил и купил сигарет мне вдвое дешевле, чем себе. Тем самым ты сказал и себе, и мне — насколько мы с тобой разные. Ты осмысленно поставил себя выше — и мне это, конечно, не могло понравиться. Нет, ты не думай, я без обиды говорю. У тебя своё место в жизни. У меня — своё: и мне моё место дороже. Я ж тебе не говорю: брось свои дорогие — кури мои дешёвые. Ты мне принёс сигарет заметно дороже моих и заметно дешевле своих. Понимаешь, в чём дело? Я не хочу из-за тебя на время становиться другим, чем я есть на самом деле. Зачем же ты этого хочешь, когда сам же указываешь мне моё место, то есть до своего уровня всё равно не подпускаешь?..

Он ничего не отвечает. Он сидит в хмуром напряжении за рулём.

Кстати, он ни за что не садится на трамвай или в троллейбус. Уже лет десять не ездит на общественном транспорте.

— У меня чё, денег, что ль, нет, — возражает, когда предлагаю одну какую-то останковку проехать на трамвае. — Я те чё, чумной какой, туда лезть — в этот гадюшник. Позориться...

К тому же он считает себя патриотом. Но весь-то его патриотизм заключается в том, что, покупая водку, он усердно и со злостью сдирает с бутылки этикетку, произнося:

— Ах, значит, «Самсон» называется русская-то наша водка? Ах, значит, «Самсон»!..

Или, скажем, как-то при мне, глядя на женщину с лицом восточного замеса, он спросил:

— Вы татарка, что ли?

Но её подружка живо возразила:

— Ты что, рехнулся, какая она татарка, она моя соседка.

Ай да подружка!..

А как он не хотел, когда мы только познакомились, как не хотел, чтобы я оказался нерусским.

— Ну... ты ведь всё равно русский, — говорил с доброй надеждой в глазах. — Хотя, может, как ты говоришь, корни твои нерусские. Сам-то себя русским считаешь?.. Нет?.. Разве?.. Но всё равно: говоришь-то, думаешь-то по-русски? Ну и вот, значит, ты совершенно русский человек. Вот и хорошо. Очень хорошо...

У него четырёхкомнатная квартира. Отменная двухэтажная дача. Дочь учится на третьем курсе престижного вуза. Словом, у него есть всё, чего он хочет. Но он несчастлив. Неприкакаян и одинок. Родители его умерли. Единственная сестра, едва сводящая концы с концами, не общается с ним, преуспевающим и не очень чутким братцем. Жена тоже отошла от него, живёт лишь интересами дочери. И он не знает, куда себя деть, поработав месяц-другой и заработав кучу денег, запивает месяца на

три, на четыре или на все полгода. Пьёт дико и тупо, выхлёстывая литра по три водки в сутки, и так до полного беспамятства, до полусмерти. После ложится или силком кладут его в больницу — и ставят на ноги. Потом всё повторяется по кругу...

Прожив с женой более двадцати лет, он жалуется, что она не любит и, в общем-то, не умеет готовить еду. У них дома, мол, вечные скандалы из-за этого. А я помню, как в молодости, когда его жене следовало учиться вести дом, хозяйство, она каждый вечер после работы ходила в клуб заниматься аэробикой. Хотя в этом не было никакой нужды — она от природы худа, стройна и изящна. Аэробика просто была модна тогда, и она изо дня в день пропадала в клубе, часами дрыгала ногами и вертела задом, а он тем временем ходил по магазинам, закупая продукты, забирал ребёнка из садика, после безропотно ждал её на скамейке перед клубом, играя с ребёнком и поглядывая на часы.

— Ты что, не знал, что баба мешок, что положишь, то и несёт? — говорю ему. — Что ж теперь-то жаловаться?..

Очередной запой, как всегда, безобразен, пьёт, не зная ни меры, ни дня, ни ночи, с хроническими семейными скандалами. Жена его позвонила мне, просит подойти и угомонить дружка. Прихожу и вижу: развалился мой приятель в одних трусах в кресле, с опухшим лицом, обросший грязноватой щетиной и почему-то без верхних зубов, вернее, лишь с двумя зубами на верхней десне. Сидит и поносит жену: вроде затевает развод, раздел имущества, обмен квартиры и прочее.

— Я-то разведусь! — кричит жена. — Избавлюсь от тебя! Мне что! Я враз замуж выйду. Я все ещё ничего из себя. А ты, ты-то куда денешься?..

— Я тоже... замуж, — шепелявит он. — То есть... это самое... женюсь тоже.

— Ты? На ком, милый?! Кому ты нужен такой?.. А вообще-то найдёшь себе какую-нибудь беззубую алкашку. Будете на пару зубы искать. Как встанете утром, так сразу оба под кровать — зубы шарить трясущимися руками...

Он уже не слушает жену. Он встал и, отозвав меня в сторонку, деловито спрашивает:

— Слушай, как ты думаешь, я воняю? Только говори честно.

— Что ты имеешь в виду — перегаром, что ли?

— Нет. Ну, потом, что ль, противно — воняю?

— Кто ж тебя знает, — ответил я, оглядывая его с головы до ног, вконец запущенного, как бы на все махнувшего рукой. — Ты хоть моешься?..

— Моюсь, конечно. Хотя — сам понимаешь... в таком состоянии...

— А чего ты спрашиваешь-то? Что случилось?

— Да менты забрали меня — пьяного, посадили в машину и повезли. Вдруг остановились — и говорят: «Выметайся отсюда, на хрен, ты воняешь!..» — и выкинули меня прямо посреди улицы.

— Ну, раз менты почуяли, значит, и вправду воняешь, милый человек. Надо следить за собой. Мыться почаще.

В глубине души он, конечно, человек простой и добродушный.

— Как смело ты ведёшь себя с женой, — с откровенной завистью говорит однажды мне, став невольным очевидцем мелкой семейной стычки. — Как просто и прямо. — И совсем уж с грустью: — Что ж, значит, уверен в себе...

— Хочешь, расскажу тебе отличный анекдот? — предлагает вдруг. — Хочешь, а?..

И, не дожидаясь моего согласия, рассказывает свой любимый анекдот. Он рассказывает его всем подряд и каждому по много раз. Вот как он выглядит — анекдот этот:

Пьяница, неизменно приходил домой поздно ночью, пошатываясь, проходил в комнату, садился на диван и снимал ботинки. Снимет один и — хлоп об пол со всего

маху. Снимет второй — тоже самое, об пол изо всех сил. И так из ночи в ночь. Как-то поднялись к нему соседи, что жили этажом ниже, и давай совестить его: ты чего, мол, такой-сякой, спать людям не даёшь? Ты можешь дурацкие свои ботинки тихонько класть на пол?.. Он обещал, что впредь ничего такого не повторится. На другую ночь, как всегда, вернулся домой пьяным, снял один ботинок и, как и прежде, хлоп об пол. Тут вспомнил о соседях — второй ботинок уложил бережно и лёг спать. Через полчаса звонок в дверь, ворвались те же соседи снизу: ты чего, ирод, второй ботинок никак не снимешь? Мы сидим и ждём, и ждём, мы спать должны или нет?..

- Ну, как, хороший анекдотик, а?..
- Да, — говорю, — ничего анекдот...

В начале запоя он обычно целыми днями сидит в баре неподалёку от дома. Мне тоже приходится пропадать с ним, поскольку без меня, без сопровождающего, без страховки, он не может обойтись. А ближе меня у него, считай, никого и нет, кто в нужный момент мог бы подсобить. Вот он встаёт из-за стола уже в изрядном подпитии и, обращаясь ко мне, говорит:

- Пойду схожу домой, но ты не думай, я ещё вернусь. Только денег возьму.
- А вдруг оманешь? — шучу я.
- Я-то? — отвечает. — Я никогда не обманываю. С кем выпиваю — тех никогда не обманываю. Ты это... жди меня, я мигом туда и обратно.

И уходит, слегка пошатываясь и с чрезмерно серьёзным лицом.

Придётся ждать — куда ж денешься. Приятель мой, во-первых, пока вдрызг не напьётся, не уйдёт отсюда, во-вторых, когда нальётся по самую макушку, не способен будет уйти. Я выйду на улицу, остановлю машину, с кем-то на пару загружу совсем обмякшего приятеля на заднее сиденье, потом, подкатив к подъезду его дома, опять же с великими трудами выгрузу из салона, на лифте подниму на четвёртый этаж и из рук в руки сдам жене. Всё как всегда. Хотя жалко, конечно, тратить время на такие пустяки, когда сознаёшь, что вот сейчас, сию минуту, от тебя секунда за секундой отбывает твоя единственная жизнь, уходит неумолимо, и ты как бы зримо видишь эти убегающие, беспрестанно отмирающие секунды — частички твоей жизни, — что может быть страшнее?!..

ЗАВСЕГДАТАИ

Многие постоянные посетители этого бара давно мне знакомы. Вон сидит вроде пышущий здоровьем человек. С аппетитом уминает целую курицу-гриль, запивая апельсиновым соком. Но я знаю, что он трижды в неделю ходит заниматься йогой. Лечится гомеопатией. Пьёт настой каких-то диковинных трав. Горстями принимает таблетки. При этом целыми днями ест и пьёт с удовольствием. Спрашиваешь его:

- Что у тебя конкретно болит-то? От чего лечишься?
- Врач говорит: мне грозит ранняя импотенция. Вот...

Против него устроился крепкий, атлетического сложения красивый парень. Он всегда внимателен и предупредителен с людьми. От всех и от всего шутками отделывается. Но иногда видно, что внутри у него всё кипит и клокочет, хотя из последних сил говорит с неизменной мягкой интонацией, с дежурной улыбкой на лице, единственное, что его выдаёт — зримая игра желваков. Теперь он, прихлёбывая пиво, рассказывает, как лет восемь назад работал в одной фирме, оптом торговавшей вином и водкой, и вот, как водится в таких заведениях, стал выпивать, сперва так, не крепко,

для настроения, потом втянулся и запил как следует, то есть с утра до вечера и с вечера до утра, круглые сутки, домой даже не уходил,пил месяца три, после его мать пришла к хозяевам фирмы и попросила уволить сына, что и было сделано в тот же день, и мать сказала ему, буквально за руку выводя на улицу:

— Берись за ум, Павел. Бросай пить — и женись. Быстрее женись — а то пропадёшь.

— И в эту минуту вижу, — говорит он далее, — навстречу нам идёт девушка. Хорошенькая такая. Подхожу к ней и говорю: девушка, выйдешь за меня замуж? Она оглядела меня, помолчала и говорит: за тебя — выйду. Так пошли в загс? Пошли, отвечает. В тот же день подали заявление, а вскоре и расписались, и вот живём уже восемь лет, и любим друг друга, и пацан наш скоро в школу пойдёт...

Все ещё миловидная молодая женщина стоит у стойки. Она выпивает часто и безалаберно — с кем попало и где попало. Она и сейчас пьяна, кричит каким-то парням:

— Что ж это вы, подлецы, вчера бросили меня? Не взяли с собой?

— Так мы с девочками по вызову гуляли. Зачем ты-то там нужна?

— Ну и что? Купили б мне бутылочку — сидела б себе тихо в уголке, а вы б кувыркались со своими девочками...

Раньше она была замужем. Совсем тогда ещё юная, тоненькая, с такими длинными дымчатыми бровями, с виду казалась невинной девчонкой. Мужу было все тридцать. Он был худ, тщедушен, но отлично играл на бильярде. Зашибал деньги в ночных клубах, за ночь, бывало, десятки тысяч, но и тратил без оглядки, в основном, на неё, на жену молодую, упреждал любую её прихоть, одевал, как куклу, всюду с собой таскал. Она была хороша, конечно, вся улыбчива и нежна, чуток подвыпив, тёплым грудным голоском песенки распевала в застольях.

Собрались мы как-то отдохнуть на даче — трое мужиков вместе с мужем-бильярдистом, исключая водителя. Шепчемся промеж себя: надо бы женщин каких-то взять с собой — а то заскучаем в мужской компании или обопьёмся. Как услышала такое юная жена — говорит: не нужно никого. Тихо так говорит — шепотком, — чтобы муж не слышал: не нужно, мол, никаких женщин. — Как так? — спрашиваем. — Нас двое, да муж твой, да шофёр — целая орава получается: надо кого-то брать. — Не надо! — уже злится она, злится с весёлой, игривой и озорной, обещающей задоринкой в глазах. — Меня одной, что ль, не хватит? Не надо никаких шалав! — А муж-то твой? — возражаем. — Муж-то как? — А он уснёт после пяти-шести рюмок и будет дрыхнуть без задних ног...

Страшнее всего человека ломает водка. Незаметно, постепенно, исподволь рушит психику, характер, семью, всего человека. Я по себе знаю, во всяком случае, ничего так не боюсь за последние годы, как водки, как себя, когда я пьян и необуздан, непредсказуем. У-у, как я ненавижу себя наутро после пьянки!..

Да, жуткая, страшная штука — водка. Вдвойне страшнее — когда пьёт женщина. В молодости была у меня подружка, сухошавая, изящная, но еле заметно припадала на одну ногу. Однако была маняща, дразняща — глаз не отвести. Помню, ушёл на работу, оставив её одну, вернулся в полдень.

— Ой, от тебя папой пахнет! — прильнула ко мне.

— Как это?..

— Железом, мазутом, папой в детстве.

— Я, считай, детдомовская, — сказала в другой раз. — С пятнадцати лет без родителей, по общагам. Так что не обижайся, если что не так говорю или делаю.

— Поцелуй меня! — говорила в людных компаниях. — Быстро поцелуй меня в щёку, чтобы все видели!..

Как для неё было важно, чтобы все видели, что она тоже любима.

Бывало, раз по семь за ночь, закусив зубами подушку, чтобы не огласить дом утробным своим воплем, билась в моих объятиях — и всё, казалось, не могла насытиться. Когда ни проснёшься, сидит на краешке дивана и смотрит на тебя.

— Ты чего не спишь-то? — спросил как-то. — Чего не ложишься?

— Нет, спать я не буду, — ответила. — Ты спи, отдыхай. А я посижу тут до утра. Нельзя мне спать.

— Отчего нельзя спать? — с улыбкой спросил я. — Что за дичь?..

Помолчала, смущённо глядя на острые свои колени, потом тихо:

— Во сне я писаюсь. Болезнь у меня такая. Понимаешь?..

А утром, не разбудив меня, ушла и больше не вернулась — исчезла навсегда. Как я ни искал её — не мог найти. Прошли годы, и как-то случайно увидел её издали. Увидел — и ахнул! Дико пьяная, растрёпанная, с размытыми следами былой красоты, стояла посреди улицы и кричала кому-то визгливым голосом:

— Я не проститутка тебе, не продажная тварь! Я честная советская блядь!..

— Пятьдесят грамм самого лучшего коньячку и лимон с сахаром! — отчётливо произносил каждое слово, обращаясь к бармену женщина с иссиня-чёрными крашенными волосами, с дрожащими при ходьбе щеками и тяжёлыми ногами. Потом, выпив коньяк и мельком глянув на меня, издаёт ещё один звук: — Ха!..

На что у неё есть полное основание, ибо я отверг её, считай, нанёс ужасное оскорбление этой редкостно вульгарной женщине. Не помню, как я попал к ней. Народу было много. Чуток выпили, и она стала то ли в шутку, то ли всерьёз перебрасываться с подружкой такими фразами:

— Что, меня — такую красивую — и не захочет? Быть того не может!.. Ты-то ладно, но я, я-то ему понравлюсь? У меня и квартира, и обстановка, и сама — баба что надо!..

А где-то через часок заманила меня в соседнюю комнату.

— Денег, денег у меня! — начала хвастаться. — Машину куплю, даже не сомневайся, холодильник всегда будет битком набит. Нет, так сразу не отказывайся, не бойся, посиди спокойно и подумай. На вот, закури хороших сигарет. Я тебе дело предлагаю. Ты мне с первой минуты приглянулся. Как увидела, так и сказала себе: он мой. Нет, не внешне, не только внешне. Ты не думай, мужиков за мной ухлёстывает — отбоя нет. Баба-то я видная, но мне чистой, культурной жизни хочется. Не трусь, клянусь, я буду верна тебе и покорна, вообще в невидимку превращусь...

У неё ещё жила мохнатая собачка — ласковое, доброе существо, всё путалась между ног хозяйки, заискивающе виляя хвостом и поскуливая. Собачку звали Кузьма. Но вот имени женщины я не запомнил...

Интересно, конечно, сидеть в этом баре. Какие судьбы, характеры и нравы проходят пред твоими глазами. Однажды встретил здесь красивого, статного грузина с густой чёрной бородой. Говорил, что впервые за тринадцать лет пьёт пиво. Я поинтересовался: отчего так? Он начал рассказывать, что семью его расстреляли в абхазскую войну, а он чудом спасся, уехал в далёкий сибирский город к знакомому монаху и стал жить при монастыре послушником.

— Теперь вот приехал сюда по приглашению знакомого монаха, — признался он. — Если понравится, может и останусь при местном монастыре.

Он сидел за столом, большими, жадными глотками отпивал пиво и говорил обо всём громким, уверенным голосом, и всё норовил угостить соседей по столу пивом или водкой, и всё справлялся, нет ли в зале грузинов, и сетовал, что обратился к самому богатому грузину нашего города за материальной помощью и тот — «гад!» — от-

казал, не помог, а вот хозяин заведения, где мы сидим, хотя и не грузин вовсе, узнав о его беде, без лишних слов ссудил пять тысяч рублей, и через каждые десять-пятнадцать минут поминал убиенных своих детей и жену. И в меня вкралось сомнение: а не мошенник ли он, не на жалость ли давит, не промышляет ли вымышленным или, ещё хуже настоящим своим горем?..

Каждый день появляется здесь высокий, худой и опрятный старик. Ему без малого девяносто лет. Он в очках с толстыми линзами. С лёгкой бамбуковой тростью в руке. Выпивает стакан или два дешёвого креплёного вина. Всё норовит завести беседы с молодыми посетителями. Не всегда получается — и тогда сидит молча, с улыбкой поглядывая по сторонам. Однажды стал рассказывать:

— Молодая девица вот тут сидела. Напилась и пристала ко мне: ой, дед, у меня такого древнего старика ещё не было. Пойдём, отдамся тебе. Я ей говорю: я б с удовольствием, красotka, да вот беда — уже лет двадцать не фурычит у меня. А она мне: пойдём, дед, пойдём, я всё сама сделаю, мне просто интересно, как с такими дедами бывает, не бойся...

— А если по правде, — спросил мой приятель, — как это... в своём возрасте на женщин смотрите? Чего-то от них до сих пор хочется... ну, душою, что ли, хотя бы глазами... хочется?

— В том-то и штука, мил человек. Даже сны откровенные снятся...

Бегом заскочил, одним махом выпил стакан водки и бегом же удалился крайне неприятный тип. Он вечно куда-то торопится, точнее, делает вид, что торопится, мне же доподлинно известно, что ничем дельным он не занимается. Я давно заметил, чем более человек энергичен, чем он подвижнее, деятельнее, тем меньше в нём внутренней жизни. Самые неуёмные люди — суть пустые люди: они ни о чём особо не думают и ни в чём особо не сомневаются. В лучшем случае — затвердили какие-то элементарные правила поведения и несколько незыблемых истин человеческого общежития, чем и пользуются во всех ситуациях. Повторяю, он мне омерзителен, прохиндей этот, и в первую очередь вот почему: умерла его мать восьмидесяти с лишним лет. Участница Великой Отечественной войны. А он не зарегистрировал её смерть в загсе или где там ещё положено, и уже больше года получает за мать её солидную военную пенсию — и рад безмерно. Ходит и всем рассказывает, как ловко он провёл власть и как безбедно стал жить.

Ему уже далеко за пятьдесят, но всё ещё моложав, кругл и крепок. Он всегда берёт себя. Своё здоровье. Свою душу. Свои нервы. И никогда не хворает. Не простужается. Не подхватывает инфекций. Он наверняка проживёт сто лет. Но что толку — у него сегодня ни жены, ни детей, ни друзей истинных, ни любимого дела. Одинокому и самовлюблённому легче оставаться здоровым и гладким и таким крепким — что не ущипнуть. Его и правда невозможно ущипнуть — я пробовал и немало удивился.

Как-то он бесцеремонно встрял в чужой разговор и говорит с усмешкой:

— Да вашему Пушкину цена в базарный день три копейки. Лежит всюду на прилавках — никто не берёт. Кому он сейчас нужен?..

— Как то есть? — возражают ему. — Ладно, нынешняя задуренная телевидением молодёжь так думает. Но ты-то вырос в менее хамские времена, ты-то должен понимать, что...

— Да ничего я не должен, — перебивает он. — Коли не берут — значит, не является ценностью.

И поворачивается, уходит походкой победителя. Или вот что он сказал, остановив меня посреди улицы, сказал с каким-то торжеством в тоне:

— Ты скоро умрёшь!

— Как это? — опешил я.

— Ты два или три раза в книге своей говоришь о своей смерти, более того, даже представляешь... рисуешь себя в гробу. А этого делать не следует. Кто такое о себе пишет, и до конца года не доживает. Есть такая мистическая примета. Так что знай — очень скоро ты умрёшь.

Выложив всё это, он энергично пожал мне руку и поскакал себе дальше. Я же долго стоял обескураженный — не тем, конечно, что он мне сказал, скорее тем, каким тоном сказал. Иногда еле сдерживаюсь, чтобы не ударить его. Это прямо моя беда. Могу запросто и неожиданно для самого себя вклеить пощёчину подлещу. Во всю жизнь только и делаю: боюсь своей непредсказуемости. Я вообще более всего боюсь самого себя. Многим страшен окружающий мир. Мне же страшен я сам.

Я понимаю, что в споре с такими людьми частенько выгляжу нелепым и вздорным. Но я такой — и ничего с этим не поделаешь. Меня часто упрекают: чего ты всё разоряешься, всё равно людей не переделаешь, так что пощади хоть свои нервы. Всё переноши терпеливо и молча. Не знаю, насколько правы мои советчики, не знаю. Вместе с тем меня давненько интересует природа умолчания. Я много наблюдал за людьми и вот что понял: один из природного такта умалчивает. Другой из трусости — из страха, как бы чего не вышло. Третий — из высокомерия, из ложного чувства превосходства над другими. Между тем, умолчание — грех, умолчание — зло, умолчание — преступление. От умолчания гибнут цивилизации. От всеобщего нашего умолчания погибла огромная страна. Как ни крути — прекрасная страна.

К тому же моя жизнь все ещё противоречит двум христианским заповедям: не противиться злу и жить для ближнего. Пока не могу не противиться злу — как я того ни желай. Жить исключительно для ближнего тоже не удаётся: занят слишком личным делом. Иногда я думаю: может, весь фокус не в беспрекословном исполнении этих заповедей, а в стремлении к ним — в непрекращающемся движении к совершенству. Поскольку, как мне сдаётся, совершенный человек — уже не живой человек. Пусть лучше я буду глупым и слабым, как, скажем, однажды в этом же заведении: сидели с друзьями в тесном кругу и спорили о литературе. Все мы в той или иной мере были несчастливы. Все это подспудно чувствовали, но никто не признавался вслух. Мы вели мучительную жизнь, но хорохорились друг пред другом, топя свои неудачи и редкие успехи в водке и бесплодных спорах. Тогда же с рюмкой в руке я почему-то вспомнил, как давным-давно малым ребёнком сидел возле жарко натопленной жестяной печурки и ел печёную айву. Запах печёной айвы ударил мне в нос — и я прослезился.

— Всё — набрался, — сказали мои товарищи по несчастью. — Допился!..

ЛЮДИ ТАМ ХОРОШИЕ

Ко мне подсаживается симпатичный паренёк и сразу же с улыбчивым бахвальством признаётся, что пьёт уже неделю. Пьёт не просыхая. Пьёт с друзьями и без них. И мне предлагает:

— Отец, — говорит, — выпей со мной за мои двадцать пять. День рождения у меня. Выпей.

— Да-а, — отвечаю. — Долго же баба мучилась, рожая тебя. Аж целую неделю тузилась — а всё разродиться не могла.

Он ни черта не понимает — хлопая глазами, смотрит на меня и бормочет:

— Мать у меня — баба хорошая. Мать есть мать. Я её уважаю. А ты выпей со мной, отец, выпей за мои двадцать пять. Я тебя очень прошу. Страсть как люблю, когда со мной выпивают...

Потом как бы забывается на время — сидит, сронив голову на грудь и смежив глаза. Дремлет, мирно посапывая. Минут через десять, встрепенувшись и мутными глазами уставившись мне в лицо, серьёзным тоном говорит:

— Далеко-то я хорошо вижу. Очень даже хорошо. Могу вон разглядеть на той дальней крыше, как... спариваются две мухи...

Я невольно усмехаюсь. А он уж несёт совершенно иную несусветицу.

— Не-э, от водки я не дурею, — говорит. — От водки никогда. Но от нервов — да, от нервов зверею. Раз жену чуть не зарубил.

— ?

— Да начала напраслину возводить, мол, изменяешь мне, то да сё... Я не стерпел — съездил по мордахам раза два, она визг подняла. Я её скрутил, швырнул наземь, взмахнул даже топором... но тут что-то произошло во мне, что-то вроде щелчка... Отбросил топор, пошёл напился и всю ночь ходил с ребятами по деревне и всё песни горланил...

Я не знаю, отчего последние годы так много пью. Причин, видимо, немало. Но более всего, кажется, люди пьют от чувства безысходности. Ведь сколько лет в нашей стране за труд не платят. За профессионализм — не платят. За талант — не платят. Платят только за предпримчивость — и как это убого, гибельно и оскорбительно. Меня тоже многое оскорбляет в нынешней повседневной жизни, как и всякого нормального человека. Приходится каждый день преодолевать в себе чувство оскорблённости — иначе озлобишься на всё и вся.

— Не хочешь выпить со мной такой штуки? — предлагает мне бармен — добрый мой знакомец, показывая стакан с напитком каштанового цвета.

— А что это? Коньяк, что ли?

— Да нет, ром. Вчера тут пили одни. Оставили почти полбутылки.

— Спасибо, но ром я не стану.

Помнится, в детстве, да, пожалуй, в детстве, наверное, это было или, может, в подростковом возрасте: купил на базаре бутылку рома «Негро». Меня послали за покупками, я сэкономил денег и купил. Почему? Для чего? Бог знает. Тогда я не пил — само собой. Ничего, кроме домашнего вина, не пробовал. Вероятно, в книгах читал или в кино видел, как люди пьют ром, и вот тоже купил. Пришёл домой, и что тут началось. Нет, ругали не так сильно. Насмехались больше. Ещё бы: в селе у всех подвалы ломаются от виноградного вина и алычовой араки, а я купил выпивку. Потеха. Я долго объяснялся-оправдывался, что это редкий напиток, что вкуснятина и прочее. Нахваливал всячески, и мать сказала — ладно, откроем на Новый год и попробуем. Я со страхом ждал Нового года, боялся — а вдруг гадость окажется. Сильно переживал, и не выдержал, конечно, загодя откупорил бутылку — попробовал: какая это была мерзость, знал бы кто, какая вонючая мерзость.

С тех пор я не пил ром!..

За окном проходят мои соседи: жена молодая, миленькая, всегда улыбчивая, а муж страшно ревнует её, преследует повсюду, каждую минуту контролирует, и скандалят, само собой, часто и жёстко, прямо до мордобоя, с криком-гамом на весь дом, случается, она уходит от него, правда, ненадолго, на день-другой, не более, хотя ей и есть куда уйти насовсем, имеется квартира, но из родни никого, отец давно помер, мать же прошлой зимой отравилась газом вместе с четырёхлетним внуком и тремя подружками: сели выпивать, а на газовой плите чайник стоял, вода закипела, залила горелку, но они всё пили и ничего не почували. Такая печальная история...

— Земляк, можно присесть к тебе?

- Присаживайтесь, конечно.
- Ты какой нации, если не секрет?
- А если секрет, что тогда-то?..
- Ничего страшного, само собой.
- Я такой же человек, как и все...
- А я армянин, земляк, армянин!

«Начинается!» — подумал я, зная, что у армян один недостаток: они всегда помнят, что они — армяне. И бравируют этим — тем, что они армяне.

Господи, да разве в наши дни всеобщей американизации — это недостаток!?! — тут же одумался я.

- Простите, земляк, я из очень малого народа...
- Я просто хочу рассказать тебе одну историю...
- Какую историю? Да и зачем она мне?..

— Э-э, земляк, мне ведь говорили, кто ты... Очень прошу тебя, послушай меня, а то я приезжий, может, больше не свидимся...

Здесь знают, что я пишущий человек, и довольно часто обращаются ко мне с подобными предложениями. Обычно я терпеливо выслушаю всякого, не желая никого обидеть. Соглашаюсь и сейчас:

- Валяйте, коль уж хотите, рассказывайте...

И он поведал мне следующее.

Как вывезли нас из той бойни, я откололся от своих, взял семью и прямым ходом махнул туда. Почему именно туда? А я там в армии служил — только поэтому. Приехали, четверо детей, жена да я, да два чемодана с детской одежкой, приехали и стоим на вокзале. Что дальше делать, не знаем. Стоим себе и стоим, полдня простояли, потом я решил, подхожу к милиционеру: так и так, говорю, беженцы мы — не подскажете, куда обращаться? И он, чуток подумав, выкладывает мне адрес нужной конторы. Едем. А там, будто ждали нас, особо не спрашивая, перечисляют на выбор районы и деревни, куда можем, значит, поехать. Все названия, как на подбор, красивые, но нам не до красоты, нам бы скорее работу и жильё какое-никакое. Так и говорю властям: мне всё равно, куда ехать, лишь бы всё ладно было. Да? — удивляются они. Да, подтверждаю я. Что ж, говорят они, это уже попроще, а то обычно ваши только в столицах мечтают устроиться, права качают. И звонят в одну деревню, в другую, третью, и находят, наконец, подходящую, где и жильё, и работа, и школа с детским садиком имеются. Короче, подсобное хозяйство от какого-то крупного предприятия. Согласны? — спрашивают. Конечно, согласны, отчего не соглашаться, если всё так путём. И они начинают толковать, как добраться до той деревни: и на словах объясняют, и на бумаге для верности пишут. Такие вот хорошие люди. Даже интересуются: есть ли у нас деньги? Есть, говорю, есть, спасибо. Тогда переночуйте где-нибудь, говорят, а завтра с утра на поезд. Вас там будут ждать, встретят и все устроят.

Утром садимся в поезд. Езды всего четыре часа. Сидим себе в вагоне, радуемся потихоньку, что ловко так всё вышло, без особых мытарств то есть. Но немножко и переживаем, всё ж не очень ясно представляем, что за условия окажутся, что за люди. А дети, особенно младшие, вовсю разыгрались, носятся по вагону. А вагон полон народу. Что? Нет, не электричка. Поезд пригородный. Всего три вагона с мягкими такими креслами. Дети, значит, озоруют, бегают по проходу, веселятся, и может, не всем это нравится, я покрикнуваю на детей, но их не унять. Да и понятно: впервые из села выехали, все в диковинку, ошалели. И как знал я — скоро проводница шум поднимает. Я извиняюсь, встаю, усаживаю детей. Но она никак не успокоится. Я ещё раз

извиняюсь: малые дети, говорю, несмышлёныши, не понимают, простите. Но она всё не отстаёт, орёт во всю глотку: наши ребята, кричит, там у них каждую минуту жизнью рискуют, кровь проливают, а они шляются без конца, ездят и ездят, дыхнуть от них нечем. И всё в таком духе. Мы сидим, молчим — а что скажешь? Она у себя, среди своих, и говорит, что душе угодно. Не запретишь. Но вот беда — матерится безбожно. Виданное ли дело, чтобы женщина так ругалась. Жена с детьми от стыда не смеют глаз поднять. Я же сижу и думаю: а что, если и мне обложить её? Тогда, может, уймётся? Но не могу решиться. Всё же чужая сторона, да и совестно как-то, вокруг ведь люди. И виноватым почему-то себя чувствую, будто всю эту кавказскую войну лично я затеял. И молчу, взмокнув от напряжения. Я молчу, но жена начинает препираться. Да, жена не выдерживает, смело так, бойко выговаривает проводнице. А той хоть бы что — ещё с большей злостью разоряется. И дети, младшие наши, то ли от страха, то ли от обиды, заливаются слезами. Плачут. Беззвучно так плачут, только слёзы с кулак катятся по щекам да плечики вздрагивают. Я уже держусь из последних сил, кажется, сейчас вот встану и прибью эту зловредину. Но тут — спасибо им — нам на помощь приходят люди, со всех сторон берутся упрекать проводницу, дружно отчитывают её, стыдят, возмущаются. А она всё не робеет, огрызается, как бешеная. Словом, что долго говорить, так вот, с горем пополам, приезжаем на место. Выходим из вагона, а нас никто не встречает, да и вообще вокруг ни живой души, одни мы сошли с поезда. Стоим и оглядываемся. Кругом степь голая, и где-то там вдалеке, километрах в двух, виднеется деревня. Растерянные, долго смотрим в ту сторону — а что издали высмотришь? Надо идти. Трогаемся потихоньку по мягкой грунтовой дороге, что тянется к деревне, идём себе молча, нехотя, прямо еле волочим ноги. Так тоскливо, тошно на душе, — хоть возвращайся! А куда вернёшься, если тебя из родного села выдворили? Деться некуда, тащимся через силу, но вскоре справа от дороги показывается кладбище, маленькое, чисто убранное, и, знаешь, глядя на это ухоженное кладбище, как-то ободряемся, увереннее чувствуем себя.

А в деревне и вправду хорошо встретили. Небольшая такая деревенька, всего-то две улицы, и дома все одинаковые, четырёхквартирные, коттеджами называют. И половина — пустые. Так что, как увидели, что с нами четверо детей, сразу полдома выделили, две квартиры то есть, тут тебе и приусадебный участок двойной, огород сажай, и коровник опять же, и сарай там всякие, погреба, все двойное. И вода прямо во дворе, нет, не колодец, колонка, нажимаешь так сверху — течёт сильной, мощной струёй. Что ещё? Магазин через три дома, клуб рядом, хотя он нам вроде и ни к чему, но всё равно хороший клуб, новый, чуть дальше школа, детский сад. Всё близко. Удобно. Живи — не хочу. А? Нет, газа нет. Углём топят. Это зимой. А летом, значит, газ привозной, в баллонах. Никаких проблем. Но главное не это, главное — люди там хорошие. Не все, конечно, хватает и лодырей, и алкоголиков, но директор хозяйства — отличный мужик. Среди работяг тоже есть двое-трое. А остальные — женщины, бабы, как их там называют. Почти все в возрасте, пожилые. Так вот эти самые бабы, когда мы приехали, в самый первый день, у нас ещё ничего не было, ни еды, ни посуды, ни постели, эти бабы принесли нам и два ведра картошки, и луку ведро, и сала свиного шмат, и посуду кое-какую. Все даром, учти, бесплатно. И по дому прибраться помогли, полы там помыть, окна, всё же долго нежилая, запущенная была квартира, грязная. И потом каждый день наведывались, узнавали: всё ли ладно идёт, не нужна ли подмога? Я тебе так скажу: там у них всё на этих бабах держится. Всюду они. Куда ни ступишь — одни бабы. Чем мужики заняты — не поймёшь. Их не видно. Утром ещё, у конторы, появляются несколько человек, а после уж, в течение дня, все куда-то деваются. Не найдёшь никого. А? Говорю же, маленькая деревушка. Народу тоже малая горстка: со всеми

старухами, с детьми, наверное, около трёхсот человек. А работающих — в десять раз меньше. Так что люди позарез нужны. Вот тебе пример: жена пошла дояркой... Что? Нет, сперва не хотела, два дня уговаривали, но когда согласилась и вышла на работу, доярки на ферме, сплошь пенсионерки, на радостях выплясывали вокруг неё. Кроме шуток, побросали свои дела и стали плясать: молодая, мол, пришла работать. А сам я, значит, разнорабочим согласился, куда пошлют, то есть. Опять же не нарадуются. Работаю исправно, а что важно — не пью, выпивох больно уж боятся. Дети тоже всем довольны. Старшие в школу ходят, младший — в садик. И учиться там гораздо легче. Дети сами признаются. Да и чего не учиться, когда во всей школе всего сорок три ученика. Только вот младший пацан, что в садик ходит, никак не привыкнет. Не хочет по-русски говорить. Особенно в садике. А? Да знает, знает русский, дома-то, бывает, щебечет. Но в садике — ни в какую! Целыми днями молчит, насупившись. Всех сторожится. Воспитательницу измучил. Спрашиваешь его: ты чего это, негодник, молчишь-то в садике? А он тебе: а чего это я буду по-русски говорить, пускай сами по-нашему говорят. Да ведь они не знают языка нашего, объясняешь, как же им говорить? А моё какое дело, отвечает, я по-ихнему знаю, пускай и они по-нашему знают. Ну что ты ему скажешь, одно слово — ребёнок, не понимает...

Я тоже рассказал этому человеку историю. Замечательную историю из прошлого своего родного села.

Говорят, он был хорошим парнем. Говорят, он был даже лучше своих сыновей. Говорят, ты же сам видишь, разве от плохого парня могли вырасти такие ребята?..

Я не знаю, не могу знать, каким он был на самом деле. Он скончался задолго до моего рождения. Но история, оставшаяся после него, но жизнь, заложенная им, всё ещё продолжается.

О его детстве и юности мало что мне известно. Скорее всего, он ничем особым не отличался от своих сверстников. Так же ходил в школу, так же шалил, как и вся сельская пацанва, лазал по деревьям, разорял птичьи гнёзда. Потом, окончив школу, года на три отбыл из села — выучился в городе на зубного врача и приехал обратно. И всё, пожалуй. Из той поры уцелела лишь одна его фраза. Сельчане вспоминают, будто, собираясь удалить больной зуб, обычно он то ли в шутку, то ли всерьёз говорил пациентам:

— Только не кричи, милый, прошу тебя, не кричи, пожалуйста, а то у меня сердце слабое...

Такой-то человек, когда грянула война, вместе с пятьюстами сельчанами ушёл на фронт. Многих, конечно, побило на той бойне, многие полегли, а иные пропали без вести, но он, провоевав все четыре года, остался жив. Израненный, заметно покалеченный, он вернулся домой победителем. Да к тому же с молодой женой. С русской. Родом из далёкого сибирского городка. Опять же не очень ясно, какая она была обликом или норовом. В селе сплошь утверждают: хорошая была, куда лучше многих сельчанок. Говорят, он её на руках носил, а она его с ложки кормила.

Но так счастливо они прожили недолго. Успели народить двоих детей, и у него дали о себе знать фронтные раны: слёг в больницу, месяца три помучался и скончался. Жена погоревала, погоревала с год, взяла детей и уехала в свой сибирский городок. Да и что ей было делать в чужом селе, среди чужого языка? Сельчане думали — всё, больше не свидятся. Но нет, она не порвала с роднёй покойного мужа. Слала письма, открытки. Лет пять спустя и сама с детьми объявилась. В гости. На другое лето снова приехала. И на третье. И так из года в год. Кто знает, как они там жили в своём сибирском городке, как сводили концы с концами и откладывали средства на

дорогу, но каждое лето приезжали, одолев тысячи километров. Скоро дети выучили язык, стали совсем своими. А когда поступили в институты, бывало, и без матери, одни приезжали. Ни одного года не пропускали. Теперь давно обзавелись семьями, и мать умерла, и у самих уже взрослые дети — а всё приезжают на родину отца. Всё приезжают. Приезжают...

КАВКАЗЕЦ

— Лучшее в человеке, в другом ли народе — принимаем как должное: не замечаем и не ценим, — увлѣкшись, говорю я с задором и витиевато. — А худшее — и замечаем, и осуждаем, и презираем, и пытаемся всё перекроить под своё понимание и разумение. Ещё вот что интересно: мы много думаем о своих врагах. Тратим на них время и нервы. Тратим жизнь. Но совсем не думаем о друзьях: просто знаем, что они есть, что мы их любим — и только. Ведь это странно. Вместе с тем человеку нужно всего лишь помнить, что все люди, добрые и злые, любящие и ненавидящие, глупые и умные, талантливые и бездарные, все в одном и близки мне, и сродни со мной, и неотделимы от меня: все мы увязаны в единый зловещий букет неминуемой грядущей смертью. Вопрос в том, многие ли думают о всеобщей и неотъемлемой родственности меж всеми людьми?..

— Я не очень образованный человек, земляк, и многие твои слова не понимаю, — помолчав, говорит мой армянский собеседник.

Я, наверно, исподволь надрался и забыл, что сижу в баре, а то с чего бы стал рассуждать так длинно и туманно. Неловко как-то вышло.

— Простите, пожалуйста, — говорю. — Меня, кажется, понесло...

— Это ничего, земляк. Одно я знаю точно: все ссоры между нациями из-за глупости случаются.

— Ещё из-за каких ничтожных глупостей, — соглашаюсь я. — Все склоки мира от глупости...

Помнится, когда забрали ребёнка, дочь мою, из роддома, как много людей собралось в нашей квартире: моя мать, тѣща, тесть, моя сестра, её взрослая дочь и, кажется, ещё кто-то, не считая, меня и жены, как все радовались и поздравляли друг друга с новорождённой... и как в этот же день случился шумный скандал. Тесть мой взялся стирать пелѣнки, мать моя увидела, как он, засучив рукава, принялся за дело, громко возмутилась:

— Это что за позор такой — полный дом женщин: мужчина пелѣнки стирает!

— Не беспокойтесь, сваха, он и за своими детьми стирал, — стала успокаивать моя тѣща. — У него это лучше всех получается.

Моя мать молча зашла в ванную и попыталась отнять у тестя постирушку. Но тот наотрез отказался уступить своё место. А тѣща моя всё настаивала: не беспокойтесь да не беспокойтесь. Но моя мать — как истинная южанка — была категорична: либо сейчас же избавьте мужика от бесстыдства, либо ноги моей больше не будет в этом доме. И пошло-поехало, все зашумели, заговорили разом, закрывшись на кухне, чтобы не разбудить спящего младенца. Я держался в стороне, ни во что не вмешивался. Когда страсти на кухне совсем накалились, я незаметно покинул квартиру. Вышел во двор без определённой цели и увидел, что пока мы колготились в тесной кухне, отшумел веселый весенний дождь. Ещё капало с деревьев, с карниза дома. Пред соседним подъездом, на скамье под тополем, сидела соседка-старуха, всегда неряшливая и дурно пахнущая. Она жила одна с тремя собаками и девятью кошками. Две её дочери своими семьями проживали в нашем же доме, но не общались с матерью

из-за её сумасшедшей привязанности к кошкам и собакам. Я издал кивком головы поздоровался со старухой.

— Моего Джульбарса не видали? — спросила она.

— Нет, не видел, — ответил я и закурил, наблюдая за четой жирных городских голубей, которые, степенно обходя лужи, шествовали по каким-то своим интересам. Громко хлопнула дверь дальнего подъезда — и оттуда с шумом выскочили парень с девушкой и, взявшись за руки, весёлые, молодые, счастливые, устремились прочь. У девушки была русая коса, и она достигала аж до щиколоток. Никогда раньше такой длинной косы не встречал.

— Джульбарс пропал, — сказала старуха как бы самой себе. — С утра убежал куда-то и всё не возвращается.

Был обычный будничным день. Я стоял посреди двора. Моей дочери было всего пять дней от роду. Моя родня спорила — кому стирать пелёнки: женщине или мужчине. А впереди была ещё долгая жизнь...

У меня есть друг малого росточка. Он всегда шумен, подчас даже, кажется, нарочито шумен, как в разговоре, так и в смехе, в движениях, в шарканье тапками, во всём. Быть может, всем этим он компенсирует как свой малый рост, так и известные комплексы, кто знает. Иногда чудится, что он во всём вконец запутался. Скажем, он сам сознаётся, как нелегко ему ладить с матерью, вообще с роднёй, но в то же время желает, чтобы будущая жена во всём устраивала его мать и жила, собственно, как она, имела те же взгляды, убеждения. Не могу в точности определить — отчего так происходит. То ли у него напрочь отсутствует воображение, то ли... нет, впрочем, это раньше я многое в нём списывал на отсутствии воображения, теперь я думаю, что это не совсем так, точнее, есть и это, конечно, но всё-таки многое от тех примитивных правил поведения, что он затвердил сызмальства. Я долго наблюдал и записывал за ним, но он, в сущности, может быть определён двумя словами: слишком правильный. К тому же он всегда весь как на ладони. Всё у него на уровне явных поступков. В нём ничего не сокрыто. В нём нет и тени, и намёка на тайну, загадку. Только изредка — может — обида на кого-то или на что-то.

Я всегда подозреваю, знаю, уверен, что вокруг множество людей, которые и умнее, и добрее, и талантливее, и красивее меня. А он считает, что все кругом такие, как он, что все люди одинаковы. Если спросить у него: является ли чей-то образ жизни, мыслей для него идеалом, он, без сомнения, ответит: нет. Он ещё согласится, что кто-то живёт лучше в материальном отношении, но чтоб кто-то мыслил, чувствовал, видел иначе, нет, такого не то что не бывает, а если и бывает, то это неверно. Кстати, это великое заблуждение миллионов, считать, что ничего, кроме их понимания жизни, уровня ума, способностей, желаний, на свете нет. В этой связи, о чём бы ни шла речь, в чём бы его ни упрекнули, его девиз:

— Как все, так и я. А что?

— Ничего! — скажешь грубовато. — Неужели никто не думает (не делает, не поступает) иначе?

— Никто! — отвечает уверенно, неколебимо. — Никто!

— Так ли уж никто? А этот... как же?..

— Да он один такой. Один!

— Ну, так вот: тут один, там один, а там ещё один, Значит, не все? Не все всё же, а?..

Случается, выговаривая ему, мол, если человек к сорока годам не определился, если он не сформировался как личность, если он всё ещё живёт тривиальным принципом «как все, так и я», то ждать от него нечего, дескать, страшнее ничего не быва-

ет — походить на всех, стремиться походить на всех. Тогда он молча смотрит на тебя. Пристально смотрит и твёрдо, даже — может показаться — злобно. Но он не зол. Я это знаю наверняка. Да и вообще дело не в том, что те или иные люди злы, нетерпеливы, грубы, крайне себялюбивы. Будучи вполне сносными, они как смерти боятся маломальской сложности, всячески избегают её, выстраивают свою жизнь до скучного просто и примитивно: хорошо — плохо, горько — сладко, чёрный — белый, холодно — горячо, не допуская никаких промежуточных ощущений.

Ему в своё время — лет двадцать назад — родители купили костюм, но он не стал его носить из-за цвета: слишком он тогда казался броским — обычный светло-зелёный костюм классического покроя. А сейчас, как сам признаётся, не отказался бы. Сейчас просто многие носят яркие вещи. Тут он весь: всегда и во всём ориентироваться на толпу.

Атмосфера кавказских условностей удушающая. Они губят всё живое в человеке. Мне это хорошо известно — сам там вырос. А он буквально напичкан ими. Весь как бы соткан из здравого смысла и житейских условностей и вытекающих отсюда комплексов. Он и хотел бы, наверное, да не в силах уйти от своей сути. А она, суть его, весьма замкнута, зажата глубоко внутри и мала. У него вообще всё малое: как известно, и сам мал ростом, и жильё мало — проходишь по длинному коридору в метр шириной, а там три махоньких отсека — комнатки, и бизнес его мал, ничтожно мал, едва концы с концами сводит, но не бросает, не возвращается обратно в школу — он раньше учительствовал, — лишь однажды повезло и он заработал немного денег, и всё, далее стал жить с надеждой на очередное везенье.

Иногда он показательно щедр. Как мне думается, однако, это не что иное, как та же компенсация очевидных своих недостатков. Безоглядно швыряя деньги, он как бы выбирается из самого себя, вырастает до уровня других или даже поднимается выше. Часто это очень заметно. Как все маленькие люди, он горд и себялюбив до заносчивости. Например, он не может зайти ко мне без гостинца. Чем-то он даже похож на японца. Так же может долго и монотонно в чём-то копошиться, так же исполнительен, безынициативен, так же подчинён однажды заведённому порядку, так же образцово вежлив. Сам он признаётся, что в детстве с помощью линейки рисовал дерево. В сущности, во многом и сегодня он остался тем же. Ему это органично подходит — линейка и карандаш.

Его характеризует и то, как он говорит о еде:

— Вот сейчас приду домой, долмы поем, мать, наверное, долму приготовила. А может, и котлеты с чесночком. Посмотрим.

Или — отказываясь от чужой стряпни — твердит скороговоркой:

— Нет, не буду, спасибо. Нет, спасибо, я недавно поел. Сытно так поел, с аппетитом. Нет, первое я вообще не ем. Только мясное. В любом виде: жареное, варёное — всё равно. Сосиски, окорока, ветчину. Колбасы всякие. Нет, рыбу не уважаю. Только мясо.

Раз он чуть не женился. Но не вышло — девушка отказала. Сперва она была не прочь выйти за него, но ставила какие-то условия. Скажем, она говорила:

— N., после училища мне б хотелось поступить в институт. Хотя бы на заочное отделение.

— Нет, надо выбирать одно, — возражал он. — Либо замужество, либо учёба. Мне нужна жена, а не студентка в доме.

— N., мне б самой хотелось ладить свою семейную жизнь.

— А что ладить? Всё уже готово: будем жить с моими родителями. Ты будешь сидеть дома, детей воспитывать, я — зарабатывать деньги. Всё давно продумано.

— N., давай не торопиться, — говорила она. — Что ты гонишь, дай подумать, приглядеться к тебе.

— Знаешь, — отвечал он, — у меня на тебя, на то, чтобы долго ждать тебя, встречаться, тара-бары разводить, ни времени, ни возможности нет. Я делом занят. Все мои дни расписаны.

— Ну, со всем этим я как-то не согласна. Всё во мне противится тому, что ты говоришь. Я так не могу.

— Почему не можешь? Ты такая же, как все. Две ноги, две руки. Что ты хочешь — не пойму? Те условия, те стерильные условия, о которых ты мечтаешь, никто тебе не создаст. Никто!..

И так обо всём. Ни тени сомнения в чём бы то ни было.

Я говорю как-то ему:

— Знаешь, женщинам хоть в одном повезло: они сидя на унитазах справляют малую нужду. Оказывается, это очень удобно. Я тоже с некоторых пор подсаживаюсь...

— Да ты что, — возмущается он, — мужик и сидя писаешь!? Позор какой. Я бы ни за что не стал. Ни за что!..

ПРИЧУДА

Я с детства очень любил разглядывать людей, будь то мужчина, женщина, ребёнок, старик, старушка — все были чрезвычайно интересны мне, и я пристально и жадно засматривался им в лица. Сидя здесь, в этом баре, созерцая и слушая разных людей, штрих за штрихом складывая портреты, характеры и судьбы, я, собственно, говорю и о себе, но делаю это чаще всего не прямо, а неким окольным путём. Для ясности приведу пример. Работая диспетчером в ночную смену, я каждый вечер в окне дома напротив видел пару: её и его. Обычно они сидели за столом — и ужинали. Он — по пояс голый. Она — в лёгком халатике. Издали казались красивыми. Я с удовольствием наблюдал за ними. Чем они были интересны мне? Да тем, наверное, что во мне происходило в ту пору. Тут важно моё внутреннее состояние. Важна моя тогдашняя жизнь. Чтобы написать себя истинного, иногда достаточно дать эфемерный образ жизни в окне напротив, памятуя, что искусство — всегда рядом с тем, что хочешь сказать...

В бар заглянул Костя Т., поздоровался со мной и пошёл по своим делам. Он год уже как не пьёт. Закодировался. И потому, наверно, всегда грустный и как бы на кого-то обиженный. Костя — обрусевший немец. Впрочем, обрусели его предки по отцовской линии. Сам он считает себя русским человеком.

— Какой я немец, — говорит. — Ни языка не знаю, ни обычаев. Одна фамилия немецкая — более ничего.

Это и правда так. Хотя и немецкое, без сомнения, в нём есть: к примеру, его аккуратность как в одежде, так и в манере держаться среди людей. Но и русского в нём немало — даже очень немало. Чего только стоит его любовь к русским народным песням. Он их знает великое множество и с удовольствием поёт в компаниях. Лучше всякого русского поёт.

Однако друзья настаивают, хотя и шутливо, но и не без основания настаивают:

— Нет, что ни говори, а самый что ни на есть настоящий немец Костя. Он же все наши старинные песни поёт без запинки. Где это видано, чтобы русский человек знал все слова песен и каждую пел до конца?..

Вот и бармен разговорился — и всё о том же ведёт речь, о заразе проклятой, гибели нашей, пьянке. Рассказывает какому-то мужчине, сидящему на высоком табурете против него:

— Тогда я работал официантом в ресторане. Как-то пришли к нам три женщины, красивые, роскошно одетые, строгие на вид. Сели за стол к одной из наших официанток. Хозяин как глянул на них, подозвал меня и говорит:

— Обслужи их ты, скорее всего, они из каких-то проверяющих органов. Будь предельно внимателен и предупредителен.

Я стал обслуживать, стараясь исполнить малейшие желания женщин. Так и изгибался, так и извивался возле них, заглядывая каждой в рот. А они так важно вели себя, что, заказывая то или иное блюдо, даже не смотрели на меня, точно и не человек кружился вокруг них. Ладно, думаю, сидите себе, отдохайте, поглядим, что дальше будет. Я не первый день в ресторане, и не таких ещё видел. И как знал, прошло где-то часа полтора, они закусили и выпили, значит, как следует, и куда только делась вся их важность! Стали так разнузданно вести себя, так хохотать, такие дикие вопли издавать, переговариваясь меж собой, потом встали из-за стола и начали так безобразно, задирая юбки чуть не до пупка, выплясывать, что все посетители только на них и глазели. Одна даже с разбегу села на шпагат, чем привела всех в восторг. После чего один пузатенький дядечка, одиноко сидевший за одним из моих столиков, не терпеливым жестом поманил меня и с весёлым блеском в глазах заорал:

— Дружище, поставь ей за мой счёт бутылку шампанского — пусть ещё разок шмякнется на шпагат!..

Бывало, сживал я в этом баре и с Геннадием Васильевичем Колесовым. Правда, редко это случалось, не любил он людные места. А так, работали с ним бок о бок. Обедали всегда вместе, то у меня в кабинете, то у него — и так в течение двух лет. Неизменно вдвоём и неизменно с бутылкой водки. Ели, пили и молчали, по преимуществу молчали, сидя друг против друга. Я смотрел ему в лицо, он смотрел мне в лицо. Казалось, я любил его. Казалось, он любил меня. Хотя что могло быть между нами общего — людьми разными и по жизненному пути, и характерами, и возрастом: он лет на десять старше. Но вот такие тёплые и немногословные, чуткие отношения сложились меж нами. Я его почти ни о чём не спрашивал. Он меня тоже. Но иногда он, подвыпив, говорил, что, выйдя на пенсию, уедет в деревню, отремонтирует старую отцову избу и станет жить-доживать свои дни вдали от городского шума и суеты.

— Дотянуть бы до пенсии, — повторял он с мечтательной грустью. — Ещё он спрашивал: — Будешь приезжать ко мне в гости?

Я молча кивал, и он улыбался, счастливый, и с упоением рассказывал о каких-то неприятных мелочах деревенского быта. О простых ежедневных хлопотах обыденной жизни. Говорил — и глаза его светились неподдельной радостью. Я слушал его — и тоже чему-то радовался.

Совсем безобидный вроде человек, но вот появился с разбитым лицом, с синяком под глазом и весь в расстроенных чувствах. Интересуюсь:

— Геннадий Васильевич, что это с вами?

— Ох, лучше не спрашивать. Не спрашивать и не отвечать. Всё дурь моя, дурь гольная — более ничего.

— Да что такое? Что стряслось-то?

— Стыд и срам — вот что. У каждого русского своя причуда, когда он пьян, а я... я ж выкидываю такие колотца, когда переберу, хоть плачь наутро, хоть вешайся, на белый свет тошно глядеть.

— Не томи, Геннадий Васильевич...

— Чего уж там. Дурья у меня башка... Сын у меня в милиции служит, хороший парень, тихий, спокойный, старший лейтенант. Так у меня привычка с некоторых

пор: как выпью, переодеваюсь в его милицейскую форму, выхожу в город, начинаю приставать к людям, документы проверять и, главное, всех учу уму-разуму, воспитываю. А вчера, наверно, на дерзких нарвался, или учуяли, что не мент я, или ещё чего, но бока мне намяли здорово...

Я очень удивился, так это было не похоже на него. И в который раз убедился, каким сложным, каким странным, каким чудным, оказывается, может предстать самый простой и ясный человек.

Вскоре я уволился с той работы, и мы стали видаться редко. А в прошлом году среди бела дня его нашли мёртвым в скверике возле дома. Какие-то изверги проломили ему череп, а был он всё в той же злополучной милицейской форме сына. Что тут скажешь, не дожил Геннадий Васильевич Колесов, милый и добрый человек, до столь желанной пенсии, только и всего...

Всё-таки я напился и совсем забыл о времени. Вышел из бара только вечером и отправился восвояси в густеющем сумраке. Уличные фонари почему-то не горели, и луны, наверно, не было, лишь окна домов светились разноцветными шторами. Так что дневная моя тень напрочь исчезла. Тень моя умерла, и я шёл по тротуару в хмельном одиночестве. Шёл хотя и крепким, как мне казалось, уверенным шагом, но часто останавливался. Стоял в потёмках и бормотал себе под нос какую-то невнятицу. Мимо меня проходили какие-то люди. Чуть дальше проезжали машины с включёнными фарами. Но я ничего не замечал и ничего не слышал. Я бубнил что-то своё и по привычке то и дело твердил, что надо прийти домой и всё это записать. Я и пришёл и записал — и вот что наутро из всего записанного сумел отгадать-прочсть:

Мне хочется быть сильным и сдержанным, дочка, но ты знаешь, что я не могу быть таким, во всяком случае, не могу быть таковым долго. Я слаб и часто слезлив и не только потому, что с раннего детства уязвлён страшной безотцовщиной, но и потому, что, кроме отца, я утратил ещё и родину: как малую, так и большую. Давно уже нет ни моего родного села, ни моей страны. Но ты знай, что я ошмёток великой державы — и никто, никогда и никак не заставит меня отречься от своего прошлого. Потому что без прошлого, дочка, нет человека, нет семьи, нет народа, нет отечества. А у тебя пока есть и отец, и мать, и родина, — и будущее. Сегодня ты моя единственная отрада, пожалуй, и как представляю, что ни меня, ни твоей матери нет на свете, отжили своё и ушли, а ты, дочь моя, семья моё, слёзы мои, гордость моя, тень моя светлая, как представляю тебя взрослой женщиной со своими детьми и внуками, почему-то хочу и вижу тебя исключительно счастливой матерью и счастливой бабушкой в справной и достойной стране.

Вот какой я чудак, дочка, вот какой неисправимый оптимист, вот какая скрытая сила таится во мне!..

